

Емельян Пиляй — эпизод 2 из 5

выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться: Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик! А?... Что?... В долг?! Не дам в долг! Емельян Павлыч, будь милосерд! Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!

Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка вон он голодает, мужик-то.

Как-с? Голодает?... А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других-прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьезное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

Не берешь? Врешь, возьмешь! Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

Ну, что ты скалишь зубы-то?... Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на вы и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и черен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаюсь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так... вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения, Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

Все это так, перебил он меня, неопределенно махнув рукою. А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами, подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки, так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту, уколошил бы его?

Нет, конечно, отвечал я. Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека.

Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось, наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

И всяк человек только разным способом всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие. Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно. Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева, и, вздохнув, проговорил:

Покурить бы теперь...

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

Здорово, панове! окликнул их Емельян, а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво проговорил:

Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

Здравствуйте! сказал он, где ж вы идете?

К Очакову на соль.

Эге!